

НИНА ТИХОМИРОВА

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И А. Т. ТВАРДОВСКИЙ – ДУХОВНЫЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

*Светлой памяти
Юрия Селезнёва и Виктора Ильина*

Поминайте наставников ваших.

(Евр. 13, 7)

Феномен творческой личности Юрия Ивановича Селезнёва известен многим, а вот о Викторе Ильине – поясно.

Представляя очередную книгу Виктора Васильевича Ильина “Скольким душам был я нужен...”, Пётр Иванович Привалов, главный редактор журнала “Смоленская дорога”, пишет: “Имя доктора филологических наук, профессора Смоленского университета, члена Союза писателей РФ, председателя Смоленского отделения Международного фонда славянской письменности и культуры, лауреата премии имени А. Т. Твардовского, бесменного организатора ежегодных праздников славянского единства хорошо знакомо и дорого тысячам его учеников и соратников в бескорыстном служении отечественной литературе и культуре”. Виктор Васильевич стоял у истоков Грибоедовских чтений в Хмелите и Твардовских чтений в Смоленске. Именно он пригласил меня, бывшую свою студентку, на Первые Твардовские чтения в 2005 году с докладом “Александр Твардовский и Витебщина”. Наше сотрудничество продолжалось ещё несколько лет. Доклады мои публиковались в сборниках материалов 5-х и 7-х Твардовских чтений.

У меня хранятся подаренные им авторские книги “Люди древней Руси”, “Не пряча глаз” и “Скольким душам был я нужен”. А когда я поделилась с ним своим впечатлением о творчестве Юрия Селезнёва, тоже им чтимого, то он подарил мне небольшую книжечку Селезнёва “Василий Белов”, сказав, что она поможет мне в преподавании русской литературы, и посоветовал мне обратить внимание на понятие “соборности” в литературе, на соборный тип личности, на обращения автора к Достоевскому. Скончался Виктор Васильевич после тяжёлой продолжительной болезни, не дожив несколько месяцев до 90 лет, 5 ноября 2018 года.

В небольшой книжнице “Василий Белов” (мал золотник, да дорог!) множество ценных изречений Юрия Ивановича, как например: “Нельзя, чтобы живое слово покинуло мир, потому что словом выражает человек свою сущность, потому что слово – это зеркало внутреннего духовного состояния человека”;

“Нет большого писателя вне большой судьбы, т. е. кровной причастности к важнейшим историческим и духовным событиям, определяющим суть и лица страны, народа, эпохи”.

В очерке “Неведомая сила” Юрий Селезнёв рассматривает **соборный тип личности** на примере крестьянина Ивана Тимофеевича, потерявшего в войну трёх сыновей, жену, но не утратившего ответственности перед людьми за свою землю, за своё дело, за свою жизнь: “Надо было жить, сеять хлеб, дышать и ходить по этой трудной земле, потому что другому некому было делать всё это...” (венчающая фраза рассказа “Весна”).

Именно о таких людях, зная что у Бога все живы, высказался А. Твардовский:

*Есть имена и есть такие даты, —
Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты, —
Не замолить по праздникам вины.*

Содержание книги выходило далеко за рамки творчества Василия Белова и расширяло наши познания. Вот Селезнёв приводит утверждение индейского писателя США Н. Скотт Момадэя: “Опыт XX века — это отрицание всяких духовных идеалов... Многие из нас выработали в себе отношение равнодушия к земле... Но я верю, что однажды в жизни человек должен задержаться мыслью на земле своей памяти...” Юрий Селезнёв своей книгой как бы отвечает заокеанскому коллеге, что глубинная память земли издавна укоренена в простом русском человеке: “Помирать собрался — рожь сей”. И тут же он приводит слова Достоевского, что воспринимать простоту истины следует не только умом одним, но всем телом и духом, и что этот долгий и нелёгкий путь познания лежит через страдания, заблуждения и всечеловеческие трагедии.

Ничто не бывает случайно: во всём действует Промысл Божий. И как же я была счастлива, когда приобрела книгу, как редкую драгоценность, со знакомой традиционной обложкой с шестью прямоугольниками разной величины и формы. Вверху, на первых двух — голубом и белом — чёрным прямым шрифтом — ДОСТОЕВСКИЙ И. Ниже, справа, — крупный его портрет работы В. Г. Перова, слева — памятник Пушкину в Москве, на открытии которого присутствовал Достоевский; внизу справа — Казанский собор архитектора А. Г. Воронихина, куда часто в последние годы, живя на Мойке, ходил молиться Пушкин и где не遠далеке, на Семёновском плацу, переживая в мыслях всю свою двадцатисемилетнюю жизнь, приговорённый к смертной казни, стоял будущий великий писатель. И слева — дорогое для меня имя белым курсивом на чёрном фоне — **ЮРИЙ СЕЛЕЗНЁВ**. И ниже, над голубой полосой в ширину обложки на белом фоне — разрядкой чёрных прямых букв — **ж и з н ь з а м е ч а т е л ь н ы х л ю д е й**. Теперь эта книга ЖЗЛ — одна из моих любимых.

Как более всех критиков, пишущих о Достоевском, проник в творческий и духовный мир великого писателя Юрий Иванович Селезнёв (“В мире Достоевского”, “Достоевский” ЖЗЛ), так и в святая святых творчества Твардовского вошёл Виктор Васильевич Ильин (“Александр Твардовский”, “Не пряча глаз”, “Скольким душам был я нужен”). Жаль, что он не успел издать Твардовского в серии ЖЗЛ. И была бы эта книга глубже, сердечнее и духовнее, нежели книжка литературоведа А. М. Туркова. Ведь чтобы писать о таких людях, как Твардовский, нужны не только факты, но и художественность, сердечность, любовь, а главное — Божье присутствие.

* * *

Мы слышим в вечности друг друга...

А. Твардовский

У Бога тысяча лет, что один день, — говорится в Писании. Души бессмертны. Между ними происходят духовные соприкосновения. Об этом сказал сам Твардовский:

*И, нашей связаны порукой,
Мы вместе знаем чудеса:
Мы слышим в вечности друг друга
И различаем голоса.
И как бы ни был провод тонок —
Между своими связь жива.
Ты это слышишь, друг-потомок?
Ты подтвердишь мои слова?..*

Достоевский, Твардовский... — величественные личности и в то же время трагические фигуры в русской литературе. Тайна этих гениев скрыта в их духовной и душевной трагедии. Оба по-своему стремились к святой истине и свету, но так и не обрели их полностью в своей недолгой жизни. Скончались они после тяжёлых болезней в шестидесятилетнем возрасте. Перечитывая их произведения, открываешь всё новые и новые глубины их мышления.

Александр Твардовский читил и любил Достоевского. Признания такие мы можем обнаружить в некоторых его письмах и в “Рабочих тетрадях”.

03.09.1955 года Твардовский записывает: “Читаю “Подростка” Достоевского. Неужели не читал прежде? Всё как-то вновь, и вроде знакомо”. “Воспитательный” роман настолько увлёк его, что забыл — читал он его раньше или вообще не читал. 20 октября 1959 года в Дневнике появляется очередная запись: “Читаю “Записки из мёртвого дома” — одну из самых великих книг в мире”.

В середине 1965 года Твардовский пишет немецкой писательнице Еве-Марии Пич относительно её статьи о влиянии Достоевского на Томаса Манна: “... тема очень интересна (я лично очень люблю Т. Манна, как и Достоевского, и непременно прочту Вашу статью). Присылайте”.

Из Сухумской записки от 24.11.1968 года: “Пошёл за билетами в кино... и в кино не пошёл, — предпочёл “Карамазовых”, — как раз “Великого инквизитора”. ... Между прочим, замечал это и раньше, например, в наших изданиях Бунина, а теперь увидел в “Братьях Карамазовых” — какая дикость заменять у классиков их написание слов Бог и соответствующих местоимений с прописной строчной. В одном месте даже смысл обрывается из-за него, когда вместо “к Нему” — “к нему”. Это не что иное, как поправление, стремление поправить чисто внешние привилегии свергнутой религии, принизить её во славу другой религии...”

В этот же день Твардовский записывает: “Найти в Евангелии цитату, соответствующую смыслу “Покинь отца и мать покинь” и, может быть, поставить эпиграфом к “Сыну-графу””.

Чуть раньше, 27.10, Твардовский записывает: “Прочёл т. 9 Достоевского, части 1-3 “Братьев Карамазовых”. В который раз делаю заключения, что с годами нужно читать всё меньше счётю книг и, главным образом, перечитывать. Или прочитывать те великие книги, которые “прошёл” понаслышке, но их, собственно, не читал”. Далее Александр Трифонович оставляет очень существенную для себя выписку: “Т. Манн. “Достоевский — но в меру”: “Болезнь!... Да ведь дело, прежде всего, в том, кто болен, кто безумен, кто поражен эпилепсией или разбит параличом — средний дурак, у которого болезнь лишена духовного и культурного аспекта, или человек масштаба Достоевского...” “... Жизнь — не разборчивая невеста, и ей глубоко чуждо какое-либо нравственное различие между болезнью и здоровьем. Она овладевает плодом болезни, поглощает его, переваривает, и, едва она усвоит этот плод, как раз он-то и становится здоровьем. Целая орда, целое поколение восприимчивых и несокрушимо здоровых юнцов набрасывается на создание больного гения, восхищается им, восхваляет его, уносит с собой, делает достоянием культуры, которая жива не единым домашним хлебом здоровья”.

В конце октября 1969 года Твардовский читает письма Фадеева. Одно из них, В. В. Ермилову, от 12 ноября 1955 года особенно привлекает его внимание. Наставляя Ермилова, как “препарировать Достоевского с учётом идеологической борьбы”, Фадеев советовал ему меньше цитировать писателя, поскольку Достоевский звучит “мощно и побивает автора”. Комментируя это письмо, Александр Трифонович с возмущением пишет: “Письмо Фадеева Ермилову, восхищающее книгу последнего о Достоевском и советующего, наставляющего, как его, Достоевского, получить упаковать, увязать, чтоб ничего

не торчало. Даже и не похоже было, что это Достоевский. А что такое есть Достоевский, в чём его величие — от себя ни слова”.

Иногда Дементьев подсовывал Твардовскому с известной целью либеральные “штучки”. “Читать я не стал, будь бы это литература, хотя бы и враждебная мне. Как, скажем, враждебна была русской демократии и революции литература Достоевского, — а так зачем же? — много чести”.

Ненависть отдельных людей к уважаемому Твардовским писателю он сравнивает с ситуацией в “Братьях Карамазовых”: “Он им в самой своей сущности противоположен, как Христос “великому инквизитору”.

Из этого далеко не полного перечня высказываний Твардовского видно, что советский поэт находил у великого писателя много такого, что было ему особенно сродни. Привлекала его, видимо, новизна особенностей построения и техники выразительности повествований Достоевского в отличие от романов Л. Толстого, Тургенева, Гончарова с их пейзажами, отступлениями, прозрачностью образов героев. Их статичность была резко противоположна динамичности событий, резкой смене действий, загадочности образов героев романов Достоевского. Вокруг главного героя, как оси композиции, распределяются в два-три круга действующие лица и строится интрига. Все влекутся друг к другу то любовью, то ненавистью, то по долгу службы перед лидером (“Бесы”), то по личной необходимости.

Об этом романе Твардовский не упоминает в своих записях, так как Достоевский сумел в нём показать всю бесовщину всех трёх этапов революционного движения в России, в том числе, который произойдёт через 36 лет после его кончины. Фрагменты третьего этапа метафорично выразил Блок в поэме “Двенадцать”, а затем поэты-“деревенщики”, начиная с Есенина и кончая поэтами нашего времени. “Происхождение не спрячешь”, — писал Достоевский.

* * *

*Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...*

Ф. Т ю т ч е в

Всё начинается с детства и корней. А корни наших обоих писателей белорусские. Фамилия Достоевских принадлежала к числу очень древних дворянских фамилий. В настоящее время в Брестской области Ивановского района находится село Достоево (сейчас агрогородок), где поставлен памятник Ф. М. Достоевскому вблизи Свято-Троицкого храма, там же рядом и литературный музей Ф. М. Достоевского, где ежегодно проходят Достоевские чтения. А рядом и школа имени Достоевского. В юбилейные годовщины писателя приезжает особенно много гостей, учёные, литераторы и почитатели творчества мировой знаменитости, а также родственники и правнук из Санкт-Петербурга. Директор музея А. И. Бурак собрал богатую библиотеку о Достоевском, много книг с автографами писателей, литературоведов. Это местечко Достоево принадлежало когда-то предкам Ф. М. Достоевского.

Как рассказывал мне Анатолий Иосифович Бурак, недалеко от их местечка Достоево находится деревня Твердовка, а в районном центре, на старом кладбище, встречаются старинные памятники, на которых ещё можно прочитать фамилию “Твердовский”. Имеет ли это отношение к предкам Александра Трифоновича — неизвестно, так как такую фамилию носили многие жители Западной Белоруссии. Известно только то, что дед Гордей Васильевич Твердовский родился где-то рядом, а потом, достигнув возраста, был призван в царскую армию и проходил службу в артиллерийских войсках в Варшаве.

Много общего было в характерах отцов наших писателей: ведущая роль кормильца семьи, хозяйственность, строгий порядок в доме, забота о детях, стремление разбогатеть, но честным трудом. Их матери носили имя “Мария” и являли собой высший образец русской женщины: жены, хозяйки, матери. Интересен и тот факт, что в обеих семьях было по семеро детей, а Фёдор и Александр были у матерей вторыми. Всю жизнь каждый из них заботился о своих близких. У обоих в жизни были трагические потери и трагические испытания.

Имея принадлежность к дворянскому роду – Ф. М. Достоевский по линии отца, а А. Т. Твардовский по линии матери, – их семья не только держалась на прочных христианских устоях, но были в полном смысле интеллигентными, в них царил культ русской классики. Первой книгой для чтения у детей Достоевских была Священная история Ветхого и Нового завета на русском языке. В ней были литографии с изображением Сотворения мира, Пребывания Адама и Евы в раю, Потопа и прочих главных священных фактов. Как-то уже в 70-е годы, при воспоминании о детстве, Фёдор Михайлович с радостным восторгом сообщил брату, что ему удалось разыскать эту их первую книгу и что он бережёт её как святыню.

С почтением и любовью относился Достоевский к народному поэту Н. А. Некрасову. Он говорил, что Некрасов – поэт истинный... стихи его не деланные, не искусственные, а вылившиеся сами собою прямо из души поэта, и в этом отношении он ставил Некрасова выше всех современных поэтов. В ближайшем после смерти Некрасова выпуске “Дневника писателя” Фёдор Михайлович посвятил его памяти много искренних строк как из своего личного сочувствия, так и в оправдание его личности от нападков и порицаний, слышавшихся тогда в печати и в обществе... Между прочим, он доказывал, что в писателе необходимо разделять личность человека от личности писателя и судить писателя по его произведениям.

Действительно, если отделить личность человека от писателя Солженицына, сыгравшего в судьбе Твардовского и России роковую роль, то “человек” окажется настоящим подлецом по отношению к главному редактору журнала. Подумать только! Твардовский, вопреки своему положению, своей репутации, поддержал автора “Одного дня...”, открыл ему путь в литературу, создал ему мировую славу, всюду защищал и всячески отстаивал его, прощал ему грубость, требованию напечатать остальные вещи, как “Раковый корпус”, оправдывая его тем, что тот испытал войну, тюрьму, страшную болезнь. А что же Солженицын? Ему наплевать было и на Твардовского, и на судьбу “Нового мира”, лишь бы удовлетворить своё тщеславие.

У Твардовского тоже любимым поэтом после Пушкина был Некрасов. По случаю 80-летия со дня кончины Некрасова Твардовский шлёт телеграмму из Ялты в Москву: “Вместе с собратьями по перу и всеми читателями и почитателями Некрасова приношу памяти славнейшего после Пушкина поэта родной земли дань глубочайшего уважения, любви, благодарности... Лично для меня это имя в ряду самых дорогих имён родной русской литературы. Мой горячий привет всем товарищам, отмечающим сегодня память великого русского поэта”. Эта телеграмма была оглашена на вечере памяти Некрасова 8 января 1958 года в зале имени Чайковского.

В доме Твардовских всегда ценили и любили русскую классику. Отец, Трифон Гордеевич, наезжая в Смоленск с целью продажи кузнечного товара и продуктов своего крестьянского хозяйства, всегда привозил наряду с другими городскими покупками и гостинцами одну-две книги. Так собралась приличная библиотека из произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, А. К. Толстого, Лескова и других русских писателей. И отец, и дети многое знали наизусть. А первой самостоятельно прочитанной книгой Александра была “Капитанская дочка” Пушкина. Всё это сыграло решающую роль в пробуждении глубокого интереса к русской литературе и в развитии талантов будущих писателей. С тех пор книга была постоянным спутником их жизни.

* * *

Ум ищет божества...

А. П у ш к и н

“... Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла!...” – писал в последней записной тетради Достоевский.

Кружок петрашевцев, влияние атеиста Белинского, арест и месяцы в одиночной камере, ожидание казни на эшафоте, каторга, ссылка, Петербург, заграница. *“И все эти годы – пророческое ожидание “православной культуры” стало центральной проблемой исканий и построений”, – писал о Достоевском*

В. В. Зеньковский. Эта проблема тесно связана со стремлением Достоевского к воцерковлённости всей русской жизни. Главной проблемой для него всегда оставалась именно проблема веры. Социальное — преходяще, вера — вне времени.

Известный русский философ И. А. Ильин считал, что религиозность — это один из самых тонких и глубоких вопросов, касающихся человеческого существования. Здесь речь идёт о самой интимной сфере внутреннего мира, где многое оказывается столь воздушным и неуловимым, избегающих слов. Между верой и неверием, между религиозностью и безрелигиозностью есть множество своеобразных промежуточных состояний, при которых человек остаётся колеблющимся, нерешительным, неуверенным, сомневающимся и неустойчивым, причём из этих состояний есть пути, возводящие к подлинной вере, и другие пути, низводящие к слепому ожесточению. Такими разными путями шли большинство героев Достоевского. Такими путями шёл и сам Достоевский, и некоторые советские писатели, особенно к концу жизни, в том числе и Александр Твардовский.

“Родители наши были люди весьма религиозные, — вспоминал брат Достоевского, Андрей Михайлович, — в особенности маменька. Всякое воскресенье и большой праздник мы обязательно ходили в церковь к обедне, а накануне — ко всенощной”.

“Русский народ весь в Православии и в идее его. Более в нём и у него ничего нет — да и не надо, потому что Православие всё... Кто не понимает Православия — тот никогда и ничего не поймёт в народе”, — писал Достоевский в подготовительных записях к “Дневнику писателя” за 1881 год” (то есть итоговое предсмертное его суждение). По убеждению Достоевского, обретение веры во Христа и в загробную жизнь бесконечно важнее обладания сознанием, познанием, наукой. “Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи”, — не уставал повторять Серафим Саровский. Но Господь каждому дал талант и грех его “зарывать в землю”.

М. В. Ломоносов своей великой научной и практической деятельностью с лихвой исполнил своё Божье предназначение и всегда считал, что наука не мешает вере, а вера не мешает науке. Так и Ф. М. Достоевский: с верой в Бога творил свои великие произведения.

Очень важно то, что Александр Твардовский, благодаря православному образу жизни в семье родителей, с детства впитал в себя религиозное чувство, основанное на тысячелетней христианской традиции русского народа и особенно крестьянства. “Это чувство, — как пишет Л. Т. Смирнова, — воплощалось, прежде всего, в способности воспринимать священный смысл событий, видеть сакральный смысл в деяниях людей, чувствовать долг перед мёртвыми и слушать их совет при решении земных дел”.

*Я ваш, друзья, — и я у вас в долгу,
Как у живых, — я так же вам обязан.
И если я по слабости солгу,
Вступлю в тот след, который мне заказан,*

*Скажу слова без прежней веры в них,
То, не успев их выдать повсеместно,
Ещё не зная отклика живых,
Я ваш укор услышу бессловесный.*

*Суда живых не меньше павших суд,
И пусть в душе до дней моих скончания
Живёт, гремит торжественный салют
Победы и великого прощанья.*

Твардовский глубоко чувствовал силу и гуманистическую наполненность христианской традиции, вольно или невольно находил под её культурным, в том числе и литературным (через библейские тексты), влиянием. Это можно обнаружить во многих стихах и поэмах Александра Трифоновича. В первой главе “По праву памяти” есть стихи, написанные в жанре библейских заповедей:

*Готовы были мы к походу.
Что проще может быть:
Не лгать.
Не трусить.
Верным быть народу.
Любить родную землю-мать,
Чтоб за неё в огонь и в воду,
А если —
То и жизнь отдать.*

Сравнить можно и со словами апостола Павла: "Я готов. Готов служить, готов страдать, готов умереть" (Рим. 1, 15; Деян. 21, 13).

В следующей главе этой же поэмы Твардовский, опираясь на евангельские изречения, покаянно пишет:

*Средь наших праздников и буден
Не всякий даже вспомнить мог,
С каким уставом к смертным людям
Взывал их посетивший Бог.
Он говорил: иди за Мною,
Оставь отца и мать свою,
Всё мимолётное, земное
Оставь — и будешь ты в раю.
А мы, кичась неверьем в Бога,
Во имя собственных святынь
Той жертвы требовали строго:
Отринь отца и мать отринь.*

В письмах А. Твардовского встречаются суждения, говорящие о его религиозности. Но делился он такими мыслями с самыми близкими людьми, разделяющими его убеждения. Так, в письме И. С. Соколову-Микитову от 7 декабря 1957 года он пишет: "Милый Иван Сергеевич, по последнему Вашему письму я заметил, что Вы несколько подупали духом, а не надо, дорогой друг, не надо поддаваться, ведь это всё он, **нечистый**, старается, — ему-то самая сласть, когда мы предаемся **унынию** и думаем, что все праздники кончились, остались одни будни. Нет, мы ещё увидим небо в алмазах". Уныние в православии, как известно, является смертным грехом. Упомянется в покаянной молитве св. Ефрема Сирина: "Господи и Владыко живота моего, дух праздности, **уныния**, любоначалия и празднословия не даждь ми..." А Пушкин за полгода до своей смерти переложил эту молитву на стихи, известные по первой строке "Отцы пустынники и жены непорочны...". Приведённые выше строки звучали так:

*Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.*

Нет сомнения, что Александр Трифонович знал оба эти текста, потому и предостерегал своего "милого и мудрого" Ивана Сергеевича, дабы он не предавался унынию.

И. А. Ильин пишет: "Религиозный человек не склонен ко лжи. Отвращение к неискренности есть дивный и верный признак религиозности". Такое качество можно усмотреть во многих стихах Твардовского:

*Я думу свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:
Нет, всё-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметился галочкой.*

Конечно, время Твардовского – это не время Достоевского, когда можно было открыто исповедовать свою веру, обращаться к Евангелию, к Богу. А потому Твардовский в силу внешних обстоятельств должен был умалчивать о многом, что скрыто было в его душе. Он был убеждённым коммунистом, верившим в коммунистическое будущее, но видел, во что выливается это будущее. А потому и страдал глубоко. Но перед своей совестью, а это значит – перед лицом Божиим, Твардовский был беспредельно честен, а значит, религиозен.

Часто в статьях и письмах Твардовского можно встретить выражения, присущие православным людям: “Как Бог на душу положит”, “Слава Богу”, “Без Бога не до порога”, “Оставайтесь с Богом”, “Не приведи Господь”, “Сегодня и Бог велел не братья”, “Бог весть сколько”, “Что Бог даст”.

Письмо П. С. Выходцеву, автору книги “Александр Твардовский”, заканчивает словами: “Только не “умнейте”, не забывайте о Боге, пусть у вас что угодно вытопчут, но не свикайтесь с этим внутренне”.

Александр Твардовский, продолжая пушкинскую традицию, считал, что поэт должен быть свободен в своём творчестве, но обязан расти и совершенствоваться как религиозно-нравственная личность, и тогда с его духовным ростом будет расти и совершенствоваться и его творчество. А Достоевский как-то с горечью воскликнул: “Русский человек без Бога – дрянь!”

По словам философа Ильина, религиозного человека нетрудно узнать по тем лучам света, которые исходят из него в мир. Один светит добротой; другой – своим художественным искусством; третий – душевным пением или простыми, но благородными деяниями. Именно это разумеет Евангелие: “по плодам их узнаете их” (Мф. 7.16). Этот свет живой религиозности трудно скрыть или не заметить, потому что он проникает сквозь дела и “светит миру” (Мф. 5.14); и только совсем ожесточённые и сердечно слепые люди могут пройти мимо него, ничего не заметив. Это в лучшем случае. Но вокруг Твардовского зачастую разгоралась такая травля, что многие из зависти и ненависти чуть ли не кричали: “Распни его! Распни!”

* * *

Есть книга, в которой есть всё...

А. П у ш к и н

Евангелие оказалось последней книгой, которую держал в своих руках Достоевский. То самое заветное, “каторжное”, Евангелие, в котором он находил вечные ответы на мучающие его вопросы. 28 января 1881 года Евангелие открылось от Матфея: “Иоанн же удерживал Его... Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду” (Мф. 3, 14 – 15).

– Ты слышишь, Аня, не удерживай – значит, я сегодня умру, – сказал Фёдор Михайлович своей жене.

К вечеру призвал к себе детей, попрощался с ними, передав Евангелие сыну Фёдору, а Анну Григорьевну попросил остаться.

– Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно...

Она расплакалась... А как она его любила! В брак вступили на Сретенье Господне – 15 февраля 1867 года. И сразу же она стала для него всем: и матерью, и няней, и лекарем, и секретарём, а главное – как бы ангелом-хранителем.

“Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит” (1-е Кор. 13,4-7). “Это о ней”, – с тихой радостью и глубокой благодарностью ко Господу думал умирающий Достоевский.

Но мы, его потомки, читая его произведения, зная его многострадальную жизнь, можем сказать, что эти божественные слова любви и о нём. Свою чистую, незлобивую, кроткую душу он вложил в своих любимых героев: Соню, князя Мышкина, старца Зосиму, земного ангела Алёшу, отвечающих Заповедям Блаженства:

“Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят” (Мф. 5, 3-8).

Голос Божественной любви Нагорной проповеди Спасителя мы ощущаем почти в каждом произведении Достоевского.

В Тобольске, по дороге на каторгу, как вспоминает Достоевский, жёны декабристов — Н. Д. Фонвизина, П. Е. Анненкова, Ж. А. Муравьёва — устроили тайное свидание с политическими. *“Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал её и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного”*. По возвращении в Петербург он иногда в беседах говорил, что, читая по необходимости одну Библию, он яснее и глубже мог понять смысл христианства. Обращаясь к итогам каторжных лет, он всегда видел в этих итогах положительное зерно, которое и дало плод именно в “перерождении убеждений”.

В речи, посвящённой памяти Достоевского, в феврале 1881 года А. Н. Майков вспомнил разговор, в котором такая оценка выражена наиболее резко, наиболее полемически заострённо.

“— Какое, однако, несправедливое дело было эта ваша ссылка.

— Нет, — коротко, как всегда, обрезывает Достоевский, — нет, справедливое. Нас бы осудил русский народ. Это я почувствовал там только, в каторге. И почём вы знаете, может быть, там, наверху, то есть самому Высшему, нужно было меня привести в каторгу, чтоб я там что-нибудь узнал, то есть узнал самое главное, без чего нельзя жить, иначе люди съедят друг друга, с их материальным развитием. Ну-с, и чтобы это самое главное я вынес оттуда, потому что оно пока скрывается только в народе, хоть он гадок, вор, убийца, пьяница. Так чтоб я вынес это оттуда и другим сообщил и чтоб другие (хоть не все, хоть очень немногие) лучше стали хоть на крошечку — хоть частичку бы приняли, хотя бы поняли, что в бездну стремятся, и этого довольно. И этого уж много. И из-за этого стоило пойти на каторгу”. Подобный разговор вспоминает и В. С. Соловьёв: *“... Я там себя понял, голубчик... Христа понял... Русского человека понял и почувствовал, что и я сам русский, что я один из русского народа”*.

“Жажда страдания”, незамутнённый божественный образ Христа, найденный им в сердце русского народа, делали, по Достоевскому, неприемлемыми для России западные, революционные средства переустройства.

Большое значение в преображении Достоевского имело светлое воспоминание о мужике Марее, которое спасло Достоевскому душу в страшные годы каторги. Позже он расскажет о нём в своём “Дневнике писателя”. Молодых пишущих писатель наставлял: *“Никогда не выдумывайте ни фабулы, ни интриг. Берегите то, что даёт сама жизнь. Жизнь куда богаче всех наших выдумок! Уважайте жизнь!”*

Он осмысливал свою каторгу и ссылку в свете Евангелия: *“А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено... будь бдителен во всём, переноси скорби, сохрани дело благовестника, исполняй служение твоё”* (2Тим. 3, 14; 4, 5).

В. В. Ильин в статье “Последнее противостояние А. Твардовского” приводит примеры двух посещений уже тяжело больного А. Твардовского Солженицыным с Ростроповичем и Ф. Абрамовым с Г. Троепольским. Вспоминает Солженицын: *“Ростропович за чаем в меру весело, уместно много рассказывал. Александр Трифонович всё рассеянной слушал, совсем уже не отзывался. Был — в себе. Или уже там одной ногой”*.

Рассказывает Ф. Абрамов: *“Добрейший Гаврила Николаевич спросил: как же всё-таки со здоровьем-то?”*

“Христос и подушка, — загадочно ответил Александр Трифонович. Помолчал и сказал проще: — Дай тебе Бог”.

Вошедшая Мария Илларионовна перевела этот разговор на другую тему. Если бы не её появление, то наш поэт мог бы сказать своим истинным друзьям ещё что-либо сокровенное. Но самое главное: он окончательно пришёл к Богу. В его душе уже жил Христос.

Очень многое можно усмотреть в этих двух эпизодах. Как первые двое были чужды Твардовскому (“весело много рассказывал” — своим “пустоутробием” не пощадили смертельно больного писателя), так Ф. Абрамов и Г. Троепольский оказались для него духовно близкими и, возможно, последними людьми, которым Александр Трифонович открыл своё сердце

(“Христос и подушка”), тем самым признался, что умирает христианином, как Пушкин, Гоголь, Достоевский. Этого не желали признавать его близкие. Им, видимо, хотелось, чтобы великий народный поэт, “Пушкин XX века”, в глазах их “родной Коммунистической партии” и бывших сослуживцев “Нового мира”, предавших своего “главного” и оставивших его в одиночестве, в глазах русскоязычных пишущих, даже в глазах потомков (!) оставался атеистом.

20 декабря 2011 года на “Твардовских чтениях” в Смоленске я спросила у Валентины Александровны, дочери поэта, почему у Александра Трифоновича до сих пор камень на могиле, как у Л. Кассиля, К. Симонова и подобных им. Она ответила: “Да ведь он же всю жизнь атеистом был”. А так ли это, уважаемая Валентина Александровна? Как к дочери любимого мною великого поэта я должна к Вам относиться с благоговением и верить Вам во всё. В одном из выступлений Вы справедливо называли своего отца поэтом предельной искренности, то есть правдивости. А в Евангелии написано: “*Знайте и то, что всякий, делающий правду, рождён от Него*” (1 Ин. 2, 29). “*А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нём*” (1 Ин. 2, 5). Вы справедливо сетовали, что сегодня мало знают его позднюю лирику, в которой особенно обнажился его духовный внутренний мир, которая появилась “*на дне его жизни, на самом доньшке*”. Как это верно! Именно в последних бессмертных стихах особенно глубоко чувствуется, как душа автора давно сроднилась с совестью. И разве не перекликается этот голос с голосом Достоевского-христианина, поучавшего нас, что совесть является голосом Божиим, вопиющим внутри человека?

И дана она была нашим писателям в равной степени с их великими талантами — от Бога. А Вы — “атеист”. Вам, Валентина Александровна, многое дано. А кому много дано, с того и много спросится. Богом спросится. Никогда не поздно сделать доброе богоугодное дело: признать отца христианином и поставить на могиле православный крест. Это не дань моде. Это, как сказано в Евангелии, “*...возвратить сердца отцов детям*” (Лк. 1, 17).

* * *

У нас всё ведь от Пушкина...

Ф. Достоевский

Вне тесных творческих контактов с классиками и Достоевский, и Твардовский не мыслили себя ни как писатели, ни как редакторы журналов. В “Словнике и энциклопедии Александра Трифонович Твардовский” зафиксировано 43 имени русских писателей, публицистов и литературных критиков XIX века, что помогает нам представить широкий круг русских классиков, оказавшихся в поле зрения советского поэта. Имя Достоевского стоит в этом ряду одним из первых.

Но советские критики, кто писал о творчестве Твардовского, такие как Н. Л. Степанов, П. С. Выходцев, Т. А. Беседина, А. Дементьев, А. М. Турков, среди его наставников, прежде всего, упоминали Некрасова, реже — Пушкина, Тютчева и Лермонтова и совсем исключали Достоевского.

О том, какое значение придавал Твардовский русским классикам, говорят многочисленные письма к писателям. Вот некоторые советы в письме к А. Ф. Павленко: “*Вы плачете от зависти над стихами Светлова, но это не столь уж высокий уровень требований к себе. Научитесь плакать над Пушкиным, Некрасовым, над большой поэзией, озаряющей своим светом века. Покамест для Вас “старики” будут казаться чем-то уже известным Вам, архаическим, хрестоматийным, покамест Вам будет представляться таинственность “мастерства” современников, перекрывающей их, “стариков”, Вы не сможете пахать на большой глубине — это будет мелкая вспашка*”.

Твардовский и Достоевский были едины в своей глубиной, никогда не ослабевающей, а ещё более и более к концу жизни возвышающейся любви к Пушкину. Оба они считали его мерилем всех человеческих и поэтических ценностей. Именно им суждено было сказать своё веское слово о любимом поэте и существенно углубить ранее высказанные определения о нём Гоголем и Белинским. Во дни открытия памятника Пушкину в 1880 году в своей знаменитой речи Достоевский сказал, что Пушкин не только чрезвычайное

и единственное явление русского духа, но и пророческое. “Да, — пояснил свою мысль писатель, — в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое”.

Вот эта идея Пушкина, которая “есть пророчество и указание”, особенно сроднила Твардовского с Достоевским. Оба они считали, что подлинно великий творец приходит в мир со своим новым словом. А новое слово Пушкина, по Достоевскому, заключается в том, что он первый нашёл твёрдую дорогу, нашёл великий и вождельный исход для нас, русских, и указал на него. Этот исход был — народность... Он увидел идеал красоты в народе, “он признал народную правду как свою правду. Несмотря на все пороки народа... он сумел различить великую суть его духа... и принял эту суть народную в свою душу как свой идеал”.

Твардовский, перечитывая в 60-е годы своего “Василия Тёркина”, плакал. Да разве не заплачешь под влиянием таких вот слов:

*То серьёзный, то потешный,
Нипочём, что дождь, что снег, —
В бой, вперёд, в огонь крошечный
Он идёт, святой и грешный,
Русский чудо-человек.*

И таких моментов не только в этой поэме, но и во всём творчестве Твардовского множество. Достоевский писал, что не понимать русскому Пушкина, значит не иметь права называться русским.

“У нас всё ведь от Пушкина”, — писал Достоевский. “Он наш и с нами, — скажет Твардовский, — а не тех, кто хочет отнять его у народа”. Действительно, не только в советский период, но и в последние 20 лет известные литературоведы, академики от русской литературы умышленно уводили и до сих пор уводят читателей, студентов, учащихся от православной, истинно русской сущности великих поэтов.

Напомню читателям несколько высказываний А. Твардовского из “Новомировского дневника” о Пушкине. О горе-писателях: “Они пишут так, как будто не было у нас Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Блока, а были только Бенедиктов да Кукольник...” (11.03.61. Барвиха).

После торжественного заседания, посвящённого 125-летию со дня кончины великого поэта, на котором Твардовский произнёс “Слово о Пушкине”: “Вчера читал речь о Пушкине, взявшую у меня три недели довольно напряжённого труда, хотя я успел “оббежать” лишь по верхушкам эту необъятную тему. Но это было с пользой и для настроения: не нам, дуракам, сетовать на судьбу, когда он претерпевал не только “недодачу” того, что ему полагалось, но и унижения, мучительнейшие для его натуры, и безденежье... и ещё Бог знает сколько чего.

Кроме всего, **дело**, от которого было бы позорно уклониться и ещё позорнее, немислимее завалить его” (11.02.62).

Воспоминание об одноклассниках Лермонтова и Пушкина, которые привёз отец, вернувшись из тюрьмы: “Пушкина почему-то передал мне, а Лермонтова — старшему брату Косте: м. б., это уже было, когда я марал бумагу стихами и мне уже отводилось должность Пушкина” (27.03.64. Барвиха).

Иногда, когда ему было совсем неважно, вспоминал пушкинские строки: “...настроение моё подалось в сторону “непреклонности и терпенья”, м. б., ещё на который срок” (13.04. Барвиха).

Это одно из любимых им стихотворений Пушкина “Предчувствие”:

*Снова тучи надо мною
Собрались в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?*

А. Т. Твардовский считал, что полувековой период советской литературы XX века никак нельзя сравнить с литературой первой половины XIX века во

главе с Пушкиным: "...хвастаться нам нечем... Мы же во власти своей "ре-
лигии", ограничившей нас, урезавшей, окорнавшей, обеднившей..."
(11.03.67. Пахра).

Твардовский в "Слове о Пушкине", произнесённом в связи с 125-летием со дня кончины поэта, напомнил высказывание Белинского о том, что Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. "Каждая эпоха произносит о них своё суждение, и как бы ни верно поняла их, но всегда оставит следующей за нею эпохе сказать что-нибудь новое и более верное, и ни одна и никогда не выскажет всего". А далее Твардовский добавил: "Его душа не менее, чем настоящему, принадлежит будущему, порывалась к нему, он жил в своём времени, со своими современниками, своей средой, но как бы и с другими поколениями, и живёт с нашими и будет жить с теми, что придут к нам на смену".

Свой роман "Бесы" Ф. М. Достоевский предварил пушкинскими стихами:

*Хоть убей. Следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.*

А Твардовский провёл параллель своей поэмой "Тёркин на том свете" с "Бесами" Достоевского и Пушкина:

*Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!*

*Тут ни шутки, ни улыбки —
Мнимой скорби общий тон.
Признаёт мертвец ошибки
И, конечно, врёт притом.*

*Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре.*

.....
*Им что ведро, что ненастье,
Отмеряй за часом час.
Целиком под стать их страсти
Вечный времени запас...*

Как видим, эти стихи с одинаковым размером, ритмом, с одинаковой интонацией и почти с одинаковым смыслом. Случайно ли такое сходство? А выдающийся наш поэт Станислав Куняев продолжил эту тему:

*Ах, Фёдор Михалыч, ты слышишь, как бесы
Уже оседлали свои "мерседесы",
Чтоб в бешеной гонке и в ярости лютой
Рвануться за славою и за валютой...*

Три взгляда, три эпохи, а суть одна...

* * *

В дружбе есть святая проба...

А. Твардовский

Для Достоевского духовно близким был А. Н. Майков. Широко образованный человек, окончивший юридический факультет Петербургского университета, знаток европейской и русской культуры, переводчик, поэт, Аполлон

Николаевич Майков по характеру был полной противоположностью Достоевскому. Добродушный и уравновешенный, лишённый зависимости и честолюбия, тонкий интеллигент, он один мог выслушать и успокоить своего друга и дать ему мудрый совет, несмотря на то, что был одноклассником. Возможно, под влиянием стихотворения Майкова “Ангел и демон” Достоевский и сказал своё знаменитое: “Бог с дьяволом борется, а место борьбы — сердце человека”. Написанные 180 лет назад стихи Майкова приобретают в наше время всё большую актуальность, но к сожалению, они не известны не только широкому читателю, но и учителям русской литературы.

*Подъемят спор за человека
Два духа мощные: один —
Эдемской двери властелин
И вечный страж её от века;
Другой во всём величье зла,
Владыка сумрачного мира:
Над огненной его порфирой
Горят два огненных крыла.
Но торжество кому ж уступит
В пыли рождённый человек?
Венец ли вечных пальм он купит
Иль чашу временную нег?
Господен Ангел тих и ясен:
Его живит смиренья луч;
Но гордый демон так прекрасен,
Так лучезарен и могуч!*

Да, Бог дал нам свободную волю, а потому человек всегда перед выбором. А так как выбор всё более и более идёт не в сторону добра и Бога, и вера скудеет в народе, то Ап. Майков, автор многих духовных стихов, пишет очень значимое стихотворение “Пустынник”:

*И Ангел мне сказал: “Иди, оставь их грады;
В пустыню скройся ты, чтоб там огонь лампы,
Тебе поверенной, до срока уберечь;
Дабы, когда тщету сует они познают,
Возжаждут истины и света пожелают,
Им было б чем светильники возжечь.*

Будучи за границей: в Дрездене, в Женеве, в Швейцарии, Италии и даже в Англии — отовсюду Достоевский писал своему другу подробные сокровенные письма: “Только тебе одному исповедуюсь...” В одном из писем он признаётся: “Давно уже мучила меня одна мысль, но я боялся из неё сделать роман... Идея эта — изобразить вполне прекрасного человека. Труднее этого, по-моему, быть ничего не может, в наше время особенно... Роман называется “Идиот...” Писал Достоевский своему другу о политических событиях в Европе, о своих жутких проигрышах в рулетку, беременности жены, а когда родилась Сонечка, то Аполлон Николаевич и Анна Николаевна Сниткина, мать Анны Григорьевны, приехали в Женеву и стали крёстными новорождённой.

Достоевский не мог нарадоваться на свои годы мечтаемое дитя, единственную свою отраду за границей. Наверное, ни одна мать, ни один отец так не ухаживали, так не лелеяли своего ребёнка, как это делал молодой отец. Но через три месяца Сонечка умерла.

“...Ох, Аполлон Николаевич, — писал он Майкову. — Я не в силах изобразить того отчаяния, которое овладело нами, когда мы увидели мёртвую нашу милую дочку... Это маленькое трёхмесячное создание, такое бледное, такое крошечное — для меня было уже лицо и характер. Она начинала меня знать, любить и улыбаться, когда я подходил...” А через несколько дней вновь, не находя себе места, пишет ему же: “Есть минуты, которых выносить нельзя... Никогда не забуду и никогда не перестану мучиться!...”

Подобное горе случилось и в семье Твардовских. Единственный их сын, маленький Саша был временно оставлен в Смоленске у матери Марии Илларионовны. Вскоре была получена первая телеграмма: “Саша болен дифтеритом,

лежит в больнице”. “Нас ужаснуло, — записывал в дневнике Твардовский, — что он в больнице один, маленький”. В двенадцатом часу этого же дня была получена вторая телеграмма-молния: “Саша умер, выезжайте немедленно”. В Смоленске на другой день “самое трудное и мучительное было у мертвецкой, когда вынесли его в гробике в синенькой рубашечке, бледненького и серьёзного, со сложенными на груди ручонками. Губки запеклись и потрескались, ноготки на ручонках посинели. На кладбище взглянули ещё раз на него, как он лежит, бедный, обиженный, покинутый мальчик с цветком в руке (он очень любил цветочки — особенно любил обдуть одуванчики)... Всё, сынок...”

Далее, в записи от 14 октября 1938 года, читаем: “Уже пять дней, как нет Саши. Когда с людьми — уже болтаю о делах. А чуть останусь один — думаю только о нём...” А образное деяние “особенно любил обдуть одуванчики” через несколько лет будет перенесено Твардовским в 8-ю главу поэмы “Дом у дороги”. У Анны Сивцовой, имеющей уже трех детей, в концлагере рождается четвёртый ребёнок — Андрейка, названный тоже в честь отца-фронтовика:

*Зачем ты, горестный такой,
Слеза моя, росиночка,
На свет явился в час лихой,
Краса моя, кровиночка?*

Но вот позади холодная, голодная и страшная зима и многочисленные потери в бараке, но Сивцовы все живы.

*И так, порой полумертвы,
У смерти на примете,
Всё ж дотянули до травы
Живые мать и дети.*

.....
*И дочка старшая в дому,
Кому меньшого нянчить,
Нашла в Германии ему
Пушистый одуванчик.
И слабый мальчик долго дул,
Дышал на ту головку.
И двигал ящик, точно стул,
В ходьбе лоя сноровку...*

А Фёдор Михайлович Достоевский имя своей ненаглядной малютки Сонечки перенёс в роман “Преступление и наказание”, назвав главную героиню Соней. Навсегда останутся в нашем сердце и в нашем сознании её слова: “Да ведь я Божьего промысла знать не могу... И кто меня тут судьёй поставил, кому жить, кому не жить”. Они обращают нас к евангельскому “не судите, да не судимы будете...” (Мф. 7, 1).

У Твардовского тоже был самый верный и преданный друг — Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Он был счастлив, что в лице любимого и авторитетного для него писателя И. С. Соколова-Микитова видел своего единомышленника: “Мне очень было приятно, что Вы оком старого мастера различили среди множества пустоцветов Солоухина с его прелестными “Просёлками”. Я-то считаю, что за последнее время ничего подобного попросту не читал в журналах... непритворная любовь, ёмкое любопытство до всего, отвращение к общепринятым у литмошенников фразам, приёмам, поискам и “открытиям”. А через некоторое время Александр Трифонович посылает Соколову-Микитову книгу В. Солоухина и просит написать на неё рецензию: “...это было бы хорошо и полезно во всех смыслах”.

Иван Сергеевич был глубоко верующим человеком: “И вот лежу я без сна и начинаю молиться... прости, Господи, мои грехи”. Вот этих двух “иноков в миру” и свёл Господь. Потому-то так легко и просто было Твардовскому с ним: “Есть вещи, которые могут быть понятны только нам с Вами”, — писал ему Твардовский, намекая на нечто сокровенное. “Пишу только затем, чтобы перекликнуться с Вашей доброй душой”. “Вспоминаю Вас ежедневно, и мне очень отраднo, что есть у меня такой славной души дорогой человек.

Крепчайше обнимаю Вас. Ваш по гроб жизни А. Твардовский". Такими словами Твардовский не подписывался в письмах никому.

Тёплыми были и ответные письма, полные заботы, сочувствия и любви: *"Не мне говорить Вам, как хороши, как народны, как чудесны стихи Ваши, как верен, народен и ясен язык. Мне всё ваше особенно понятно"*. Трогательная дружба Твардовского и Соколова-Микитова изумляет. Сохранилось 62 письма Соколова-Микитова Твардовскому и 61 Твардовского Соколову-Микитову.

Их в некотором роде мистически связал Достоевский. Да ведь ничего случайного не бывает, во всём присутствует Промысл Божий. Мне хочется привести один знаменательный рассказ Ивана Сергеевича.

"— Не помню, случалось ли мне вам рассказывать, благодаря чему, или, вернее сказать, кому, появился я на белый свет?"

— Нет.

— А благодаря старцу Зосиме из "Братьев Карамазовых".

— Как так?!

— А так, — продолжает довольный произведенным эффектом Иван Сергеевич. — Если б не Зосима — так Достоевский старца Амвросия назвал — меня бы и на свете не было".

И Соколов-Микитов рассказывает: когда матушка его в двадцать лет надумала выходить замуж, она пошла в Оптину пустынь советоваться к старцу Амвросию. К ней сватались три жениха: начальник станции, молодой купец и лесник Сергей. Амвросий посадил матушку на лавку в скиту, где обычно принимал посетителей, расспросил её ласково и сказал: *"Выходи, Машенька, за Сергея"*. В первую минуту она изумилась, но дело было решено. Она вышла за Сергея, а через положенный срок у них родился мальчик.

"Это был я, — объявил с торжеством Иван Сергеевич, — причём у родителей оказался я единственным ребёнком. Вот что значит, — и в жизни всё со всем связано. Так и я, выходит, связан с "Братьями Карамазовыми". А значит, можно добавить, и с Достоевским". Вспомнив про Оптину, Иван Сергеевич рассказал, что в 1933-м и 1934 годах провёл там два лета, отдыхая и работая в бывшем скиту. На меня этот рассказ произвёл особое впечатление.

Можно предположить, что друзья-писатели побывали вместе не только на островах Петровских озёр, где жили особенные люди, сохранившие старинные обычаи, свой особый уклад жизни, о чём поведал нам в своих воспоминаниях *"Друг мой и земляк"* Соколов-Микитов. Они могли побывать и в святых местах. Ведь сказал же Твардовский художнику А. Базлакову про Валаам. На даче у Твардовского был могучий чёрный пёс, *"прямо-таки медведь"*, как вспоминает Базлаков. Необыкновенно умный взгляд и доброта собаки поразили художника. На его вопрос, что это за порода и как звать, Александр Трифонович ответил: *"Это Фома, из породы водолазов. Мне подарили монахи, когда я ездил на острова"*. Сказал он это серьёзно, ему уже было не до розыгрышей, так как вскоре он заболел и слёг. А рисунки Базлакова оказались последними, набросанные при жизни Александра Твардовского.

Соколов-Микитов оставил нам и очень ценные воспоминания, которые кончались такими откровениями: *"Я всегда вспоминаю Твардовского, драгоценную для меня нашу дружбу, вспоминаю его лицо, его руки, его глаза"*. С большой горечью он пишет: *"Весть о смерти Твардовского потрясла меня. Я долго не мог опомниться, оказавшись как бы один в пустоте. Я и теперь не могу верить, что Твардовский умер, что больше я его никогда не увижу. Он был для меня дорогим и любимым человеком. Наша близость доставляла мне великую радость, наполняла содержанием жизнь, которая без него опустела. Вряд ли будет забыто у нас его имя. Он воздвиг себе нерукотворный памятник, который останется в нашем народе на долгие сроки. Вечная память поэту Твардовскому, народному поэту!"*

В цепочке Достоевский-Оптина-Соколов-Микитов-Твардовский просматривается мистическая связь. Потому-то и тянуло Твардовского к этому "редкостному", как он называл его, человеку: *"Воистину пути Господни неисповедимы"*. Дружба этих талантливых Божьих избранников доставляла обоим великую радость и наполняла их жизнь содержанием.

Убеждена, что у Достоевского и Твардовского в какое-то время их многострадальной судьбы был свой Фавор, своё духовное преображение. И несли они это внутри себя бережно и сокровенно.

*К обидам горьким собственной персоной
Не призывать участь добрых душ.*

А. Твардовский

Эти стихи звучат настойчиво и призывающе. Автор имел право учить тех, у кого всё впереди:

*Жить, как живёшь, своей страдой бессонной, —
Взялся за гуж — не говори: не дуж.*

Почти все современники, близко знавшие Твардовского, отмечали исключительную цельность его характера, честность и прямоту: «Он не умел лгать даже в чрезвычайных обстоятельствах» (В. Лакшин), «Лукавить он ни с кем и ни о чём не мог» (А. Кондратович), «Не терпел фальши. Поразительное чувство правды» (Ф. Абрамов). В этих оценках он особенно схож с Достоевским.

Хочется привести характерные примеры сходных ситуаций, в которые время от времени попадали Достоевский и Твардовский. Как-то на торжественном обеде петербургских профессоров чествовали приехавшего из Парижа, «с края чужого гнезда», И. С. Тургенева известные либералы — Космаров, Кавелин, Спасович... Пригласили и Достоевского с Майковым, «Да, видно, зря, не стоило этого делать», — пишет Юрий Селезнёв. После, казалось бы, блистательной речи духовного наставника либерального общества и особенно молодёжи, как привык считать себя Тургенев, восторг захлестнул было торжественный зал, так как прозвучала уверенность, что молодое поколение доведёт дело отцов до победы, были намёки на конституцию и пр., но всё испортил «этот сумасшедший, этот бесноватый» Достоевский — попросил слова и вместо того, чтобы выразить признательность Тургеневу за его «смелую, благородную» речь, вдруг, обернувшись к нему, язвительно потребовал:

«Скажите же прямо, каков ваш идеал? — говорите!» — и, не дожидаясь даже ответа от опешившего Тургенева, махнул как бы безнадежно рукой, отвернулся и уселся на место. Шум, конечно, поднялся неимоверный, шикали, даже свистели, большинство бросилось утешать Ивана Сергеевича, но подходили и к Фёдору Михайловичу.

После вечера А. Майков упрекал его: «Ну, чего добились? Либералов от либерализмов не излечишь, а на себя натравишь всю их ораву. Теперь только и жди, какую новую сплетню пустят о вас гулять по Руси-матушке... И про «Русский вестник» не забудут...»

Да, нелегко ему было быть Достоевским: не прощались ему смелость быть и оставаться самим собой... А спустя некоторое время на него было совершено покушение: от страшного удара в затылок он упал на мостовую, разбил лицо, потерял много крови, три недели лежал в постели, и ещё долго мучили его головные боли. А мужика, которого кто-то подговорил убить Достоевского, нашли, но писатель простил его и даже уплатил за него штраф.

Твардовский тоже не любил, когда его старались сделать «своим» то левые, то правые, то разных мастей либералы, «демократы», «шестидесятники». Он до конца своих дней оставался просто честным русским писателем и говорил, что он ни тот, ни другой, не Солженицын, а **Твардовский**. А потому он и провозгласил свой жизненный творческий принцип:

*С тропы своей ни в чём не сступая,
Не отступая — быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.*

Пред нами — последнее опубликованное при жизни Твардовского стихотворение. Эти искренние до боли слова обета и нравственного завещания поэта-гражданина призывают нас к служению добру, людям, Отечеству.

Профессор В. В. Ильин в своих мемуарах вспоминает: «В 1950 году торжественно чествовали 50-летие М. В. Исаковского. После А. Суркова

и А. Твардовского выступил Н. Грибачёв, посвятивший в основном своё выступление партийности в советской литературе, сказав, что всецело партийным может быть только писатель, который состоит членом партии большевиков и поэтому, следуя её программе и уставу, неустанно борется за внедрение в жизнь её “бессмертных идей”. И тут резко возразил А. Твардовский, что партийность вовсе не в том, состоит или не состоит в рядах партии тот или иной писатель, а в том, как он выражает в своих произведениях дух времени, насколько его мысли и чаяния совпадают с тем, о чём думает и что переживает народ.

Этой недозволенной выходки не могли простить Твардовскому многие литераторы и стали распространять о нём ложные слухи. Некоторые даже возненавидели его. Профессор В. С. Баевский вспоминал, как в середине 60-х годов в Смоленском пединституте проходило всесоюзное совещание заведующих кафедрами русской литературы. Несколько человек, дабы не идти на совещание, попросили его в качестве гида показать город. Зашёл разговор о смоленских поэтах. И вдруг он услышал злые слова о Твардовском и даже страшные угрозы: “Убить его надо! Мы его убьём!” Им понадобилось пять лет, чтобы осуществить свою угрозу.

Несомненно, это была та самая “чернь”, которая ненавидела русских гениев.

В связи с этим вспоминаются стихи графини Ростопчиной, написанные к одной из лицейских годовщин Пушкина:

*Не просто. Не в тиши, не мирною кончиной,
Но преждевременно, противника рукой —
Поэты русские свершают жребий свой...
Не кончив песни лебединой!*

Безусловно, Достоевскому и Твардовскому, отдающим самих себя во славу своего народа и Отечества, охраняющим и развивающим великую русскую культуру, было больно и горько встречать не просто непонимание, а настоящую ненависть, зависть, слышать и читать о себе клевету; терпеть, когда вырезают лучшие строки и целые главы или вовсе не печатают. А трагические истории с подначальными их журналами — настоящее оскорбление, унижение, глумление! 60 лет — разве это предел человеческой жизни? Остались незавершёнными повести, десятки стихотворений, дневники... Мы никогда не узнаем дальнейшую судьбу “инока в миру” Алёши Карамазова и судьбу саги рода Твардовских (“Пан Твардовский”).

* * *

Я пойду по трудной дороге...
Ф. Достоевский

Юрий Селезнёв, анализируя сборник стихов Рубцова “Подорожники”, отмечает, что именно дорога жизни, выбор пути — основная, центральная тема поэтического сознания Николая Рубцова...

В дороге — идея русской литературы, идея, которую прекрасно выразил один из героев Достоевского: “Большая дорога — это есть нечто длинное-длинное, чему не видно конца, — точно жизнь человеческая. В большой дороге заключается идея”.

Во многих своих стихах и поэмах Твардовский как бы расшифровывает это утверждение. В стихотворении “Дорога дорог” многомерность образа-символа пути-дороги равнозначна многомерности человеческого бытия:

*В места, что под завтрашний день застолбованы,
Вступает народ, богатырь небалованный.*

Радостное чувство поэта, что он (русский человек) “знает про силу свою молодецкую”, что он ощущает своё единство с народом, обостряет ответственность и диктует строки высшей пробы:

*...А где моё слово, что было бы подлинным,
Тем самым, которое временем спросится?
Пушкой оно будет не самое громкое,
Но только бы правдой бестрепетной ёмкое.
Пушкой не из стали оно, не навечное,
Но только бы слово от сердца, сердечное.
Но только бы даль в нём была богатырская,
Как русское это раздолье сибирское.*

Да! И у Достоевского, и у Твардовского дорога как путешествие во времени и пространстве, как обретение искомым начал. Дорога – путь, дорога – судьба. Дорога – выбор и пути, и судьбы самим человеком. Оба писателя к своему бытийному понятию о дороге подошли по-философски. Об этом же читаем мы у Юрия Селезнёва: “Потому-то и нет того предела, где успокоилось бы русское сердце; потому-то и всегда оно в пути, на большой дороге к правде...” (“Достоевский”, ЖЗЛ. С. 179). И путь этот был у обоих писателей чрезвычайно трудный, мучительный, но честный. Он – “кремнист”. Да, кремнист – как у Лермонтова, “но внемлет Богу”. Да и Бог посылает свой свет на сверкающий остриями путь. И на этом пути им выпадали часы тягчайшего испытания на прочность, ибо Бог всегда хочет видеть свои творения живыми. “Не будьте мёртвые, но живые!” – призывал Гоголь.

Евангелие наставляет нас входить “тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их” (Мф. 7: 13-14).

Конечно же, перед Достоевским и Твардовским всегда стояла и творческая жизнь Пушкина. Вспомни стихотворение “Странник”, наполненное автобиографическим содержанием:

*Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городское поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.*

Но этот “узкий” путь нужно защищать. Не потому, что это только путь того, кто вступил на него, а потому, что этот путь Христов. Он показал, открыл и проложил его. Это первый и единственный путь от грешного мира к вершинам Неба. Другого нет. Все остальные пути сворачиваются в кольцо безысходных ужасов. Преподобный Иустин Сербский писал: “Как только человек вступает на узкий путь, он вступает в вечную Истину и в вечную Жизнь, ибо Путь, Истина и Жизнь единосущны в Господе Иисусе Христе” (журнал “Христианская жизнь”).

Да! Защищать следует всегда и на всех уровнях жизни: бытовом, бытийном, духовном.

Яростные схватки Юрия Селезнёва за “добро” правды и справедливости, порядочности и верности Пушкинской традиции, непреклонности к западным проидам и хамелеонству его завистников описал Сергей Куняев в своей замечательной статье “За святыни Отечества”: “Селезнёв умно и доказательно защищал свою позицию: “Вопрос в том, что антирусские течения, русофобство стали одной из главных форм антисоветской пропаганды... Советский характер сегодня – это не нечто рождённое. В основе его лежит то, что мы называем русским характером... Мы публикуем вещи, с которыми нужно спорить...” А в нормальном споре, как говорится, рождается истина. И далее Сергей Станиславович пишет: “Совершенно иначе думали секретари Союза писателей, даже через много лет не скрывавшие своей ненависти к Селезнёву”. Это же касается и так называемых “единомышленников” по отношению к Достоевскому и Твардовскому.

Очень хотелось бы, чтобы эта тема “кремнистого пути” Юрия Селезнёва была продолжена.

Секрет великих творцов, прежде всего, Достоевского и Твардовского, в том и состоял, что они сумели переработать максимум определённого художественного материала и, сформировавшись на нём, сами превратились в формирующуюся силу. И, конечно же, здесь А. Твардовский шёл по пути не

только Пушкина и Некрасова, но и Ф. М. Достоевского, который сравнивал процесс художественного творчества с “таинственной лабораторией груди человеческой”, где незримо начинаются и зреют все ощущения и чувства, где немолкаемо раздаются вопросы о мире и личности, о смерти и бессмертии, о таинствах любви, блаженства и страдания. Эти факты подтверждают духовную близость двух русских писателей разных поколений и времён, несмотря на ярко выраженную их индивидуальность.

Читая их произведения, понимаешь, что тот, кто душой расположен к Богу, если потеряет земную радость, начинает искать источник нерушимой небесной радости. А тот, чья душа затемнена, при таких же условиях идёт в служители зла: потеряв сам себя, он и по отношению к другим старается отобрать, разлучить, уничтожить. Такую деятельность начал Швабрин, заметив в Гринёве склонность к Маше. Зависть, клевета, ложь, подлость – таковы шаги Швабрина к измене присяге офицера, к издевательствам над Машей и адской ненависти к Гринёву. Как уже упоминалось, Твардовский называл “Капитанскую дочку” самой первой самостоятельно прочитанной книгой, а для Достоевского она была одной из любимых книг. Оба они остались верными русской мудрости, которую Пушкин вынес в эпиграф: “Береги честь смолоду”. Но слово “честь” имело духовное значение: “честной отец”, “Честнейшую Херувим”, а в народе говорили, что девушки выходили замуж честными.

* * *

Лучшие люди должны объединиться.
Ф. Достоевский

В 2014 году газета “Русский вестник” публиковала беседы с выдающимися деятелями русского национального движения. На вопрос “Каково Ваше понимание соборности русского народа?” Станислав Юрьевич Куняев ответил: “Русская соборность – это тоже одна из наших надежд на спасение”.

Юрий Селезнёв в своей статье “Поэзия природы и природа поэзии” даёт определение соборности: “...даже такому роду свободы духа, как поэзия, присуще общее начало – соборность (разрядка **Ю. С.**), т. е. такое качество, которое собирает все индивидуальные воли в единство и которое не только не поглощает и не подавляет свои составляющие, но только и даёт им полную возможность предельного творческого волеизъявления”.

Творческое начало, составляющее основу, ядро каждого из людей-творцов, проявляется в каждом из них лично-индивидуально. Но формировалось оно тысячелетиями общенародной жизни, в том числе и в первую очередь в диалоге с природой. А этот общий – общественный – опыт передавался каждому из членов общины – общества. Каждая из великих и малых национальных культур несёт в себе своё собирающее (соборное) творческое начало, которое в значительной мере и определяет духовно-творческое лицо народа, нации в целом. И не последнюю роль в формировании этого лица или “народной личности” (определение Достоевского) играют поэтические воззрения того или иного народа на природу. Они-то и вырабатывают национальную форму соборности – творческого духа, собирающего мир в Целое”.

Алексей Хомяков считал, что “Соборность – понятие многозначное: духовная, научная, культурная, национальная и светская”. Под “духовной соборностью” он подразумевал специфическую целостность Церкви, которую противопоставлял и протестантскому индивидуализму, и католическому единству.

Достоевский, указывая нам путь к спасению, противопоставляет Ивану с его легендой о Великом инквизиторе Алёшу вместе с собой. “А где двое или трое собраны во имя Моё, там Я между ними”, – говорил Христос. “Это бунт...” – возражал Алёша на, казалось бы, убедительные речи Ивана. “Никакого у них нет такого ума и никаких тайн и секретов... Одно только разве безбожие... Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!.. Это нелепость! Твой инквизитор – одна фантазия...”

Мы убеждаемся, что правда за Алёшей и автором, которые обрели опору в Боге. А это уже **соборность**, а не **полифония**, как утверждал М. М. Бахтин, доказывая, что художественное мышление Достоевского носит полифонический

характер, в чём ему до сих пор вторит целый сонм литературоведов, совершенно не учитывая, что Достоевского следует рассматривать только через призму православного мировоззрения.

Иван Карамазов всё-таки почувствовал нравственный и духовный верх Алёши. На горестные восклицания младшего брата: “А **клейкие листочки**, а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина! Как же жить-то будешь, чем ты любить-то их будешь? С таким адом в груди и в голове разве это возможно?” Иван отвечает: “Вот что, Алёша, если в самом деле хватит меня на **клейкие листочки**, то любить их буду, тебя вспоминая. Довольно мне того, что ты тут где-то есть, и жить ещё не расхочу (до этого он говорил Алёше, что жизнь ему в тягость, дотянуть бы только до тридцати лет). Если хочешь, прими это хоть за объяснение в любви”.

Эти “клейкие листочки” впервые появились в стихах Пушкина:

*Скоро ль у кудрявой у берёзы
Распустятся клейкие листочки,
Зацветёт черемуха душиста.*

Достоевский, вернувшись из ссылки в Петербург, часто читал эти стихи в обществе любителей поэзии. А через несколько лет он придал “**клейким листочкам**” новое смысловое значение. Попутно хочется отметить, что эти пушкинские “**клейкие листочки**” были дороги и Твардовскому. И не только как символ начала весны, как пробуждение жизни, а, видимо, как нечто большее. Он ревниво следил, чтобы начинающие поэты не заимствовали у Пушкина этот поэтический образ. Эти незабываемые “**клейкие листочки**” соединили с Пушкиным Достоевского и Твардовского.

Чувство соборности особенно сближает творчество А. Твардовского и Ф. Достоевского. Именно через соборность как высшее единство голосов героев, автора и мира характеризует мировоззрение и творчество Достоевского Юрий Селезнёв. Он считает, что в соборности имеет место доминантное слово, определяющее иерархию голосов и ценностей. В полифоническом же мире вообще невозможно художественно поставить в центр слово народа, — осуществить ту идею, ту задачу, которую, по убеждению Ю. Селезнёва, смог осуществить Достоевский и которую, по его же убеждению, писатель и сумел воплотить не на уровне полифонизма, но на уровне соборности. “Полифонизм для Юрия Селезнёва — шанс для тех мрачных хитрецов, кто готов смешать Христа и антихриста, подменить добро злом, ссылаясь на амбивалентность. Ю. Селезнёв избавляет Достоевского от власти тех, — пишет профессор А. Татаринов, — кто уверен, что Достоевский — “по ту сторону добра и зла”, что он — “русский Ницше”. “Но истина его, — считает Ю. Селезнёв, — не в противоречиях. Его совесть никогда не металась между добром и злом. Его духовный центр — не смесь правды с неправдой. . .” “Как будто чувствует Селезнёв, — отмечает А. Татаринов, — что близок час, когда смешение идей и мысль о безграничном синтезе будут определять не только культурную, но и политическую жизнь” (“Наш современник”, 2008. № 7. С. 262).

Характеризуя трагический оптимизм Достоевского, Ю. Селезнёв пишет: “Да, дьявол (беспорядок — дух отрицанья — антитезис — буржуа и т. д.) — пришёл в мир и устанавливает в нём свою меру — таковы факты катастрофической эпохи, отразившиеся в видимом господстве дисгармонического стиля в целомом художественном мире Достоевского”.

Слово дисгармонии, хаоса, катастрофичности — действительно последнее слово многих героев Достоевского. Но не их последняя правда. Последняя правда в том, что даже и в самосознании героев живёт потребность в идеале красоты, в том, что “паук не может осилить в их душе “**клейкие листочки**” — образ живой жизни”.

Селезнёв показывает, что Достоевский — разоблачитель ветхозаветного сознания, в котором, как он считает, не органический пролог Нового завета, а обособленный мир избыточного железного Закона, который никогда не сумеет примириться с тем, что Евангелие **есть**. Действительно, весь этот ветхозаветный мир фарисеев, лицемеров и книжников в своей псевдоправедности стремится к одному — погубить Христа.

У Твардовского в “Тёркине на том свете” все Охраны, Столы, “Гробгазеты”, Отделы, Системы и Органы тоже губят человека в человеке, то есть

образ Божий: бессмертную душу, свободную волю, талант. Тёркин увидел не просто мертвецов, а мёртвые для Бога души. А раз они не с Богом, значит, служат тому, кому и “бесы” Достоевского. В противовес безбожью — вера в Бога и упование на Него; нравственному релятивизму, разъедающему совесть человека, — постоянное призывание Божией Матери со святыми; экспансионистской идеологии — русское объединённое братство. “Только **братством** можно победить “Зверя Апокалипсиса” в мире чистогана, — считает Ю. Селезнёв вслед за Достоевским. В наше время это особенно важно, так как ветхозаветная идеология, сохранив и, более того, усилив свой монолизм, проявляется ещё в одной опасной форме — в обожествлении денег.

Анализируя творчество А. Т. Твардовского, профессор В. В. Ильин в некоторых случаях опирается на древнерусскую религиозную классику, упоминая “Слово о Законе и Благодати” митрополита Илариона, который противопоставляет библейской идее о “богоизбранности” одного народа идею равноправия всех народов. Вскрывает глубинные корни двух разных сознаний, заключённых в Библии, основанных на Законе и данной через Евангелие Благодати. Именно в таком контексте рассматривает Достоевского Ю. И. Селезнёв, показывая, что диалогический Достоевский противопоставит монолизму древнееврейского сознания, сохраняющего мощное влияние в современном мире. Всё это не могло не заинтересовать А. Т. Твардовского в последние годы его жизни, потому-то он так внимательно перечитывал “Братьев Карамазовых”.

В середине 50-х годов А. Твардовский начал работать над поэмой “За далью — даль”. 13 сентября 1955 года он помечает в “Дневнике”: “Тема многослойная, многорадиусная — туда и сюда кинься — она до всего касается — современности, войны, деревни, прошлого, революции и т. д”. Да, собрав в 15 глав своей изумительной поэмы все стороны нашей жизни, Твардовский продолжил традицию соборности, углубив и расширив её значение.

Павел Флоренский писал, что творчество должно обеспечить выход в мир духовный, в новую реальность, всколыхнуть глубины памяти. . . Человек творческий подобен Творцу небесному, он сам может “творить” и господствовать над тварным миром. Но господство это возможно именно в силу духовного родства человека с Единым Творцом, то есть, если в произведении нет Бога, оно не затронет душу, оно пустое и даже вредное.

По этой причине поэма “За далью — даль” трогает православного читателя до глубины души, так как проникнута глубоким чувством соборности. Это и встреча с великой русской рекой Волгой, когда вместе с автором и майором

*Весь вагон с рассвета в сборе,
Теснясь у каждого окна,
Уже толпится в коридоре.
Уже вблизи была она.*

*Пусть реки есть мощней намного —
Но Волга-матушка одна!
И званье матушки носила
В пути своём не век, не два —
На то особые права —
Она
Да матушка Россия,
Да с ними матушка Москва.*

Чувством соборности проникнута вся атмосфера пассажирского вагона, где доминантой является сам автор. Это и

*Вагонный быт в дороге дальней,
Как отмечалось до меня,
Под стать квартире коммунальной,
Где все жильцы — почти родня.*

Рассказчик заставляет и нас, читателей, любоваться молодожёнами, которые после вуза по зову сердца едут в Сибирь:

*...Рука с рукой — по-детски мило —
Они у крайнего окна
Стоят посередине мира —
Он и она,
Муж и жена...*

А какая незабываемая, до глубины души потрясающая картина проводов юной пары:

*И мы своим молодожёнам,
Когда настала их пора,
На остановке всем вагоном
Желали всякого добра.
Как будто мы уже имели
На них особые права...*

Глава “На Ангаре” проникнута великим духом созидания, духом единения со своим народом, органическим родством со всей страной:

*Немало жито-пережито,
Что хочешь будь и впредь со мной, —
Ты здесь — венец красоты земной,
Моя опора и защита,
И песнь моя —
Народ родной.*

Если обратиться к лирике Твардовского периода войны, то можно отметить, что она проникнута тем высоким чувством русской православной соборности, которое помогало ощущать Родину как большую семью, всех людей Страны Советов “братьями и сёстрами”.

Почему я обратила внимание на чувство соборности в поэме “За далью — даль”? Потому что именно соборность в настоящее время становится объектом нападков русофобов всех мастей. Попытки извратить соборное начало среди славянских народов не прекращались на протяжении многих веков мировой истории. Однако особенно яростными и опасными они стали в XX и XXI столетиях, пытаясь разделить, расчлениить и поодиночке уничтожить неугодных сатанинским силам.

* * *

“Камни и хлебы”

Ф. Д о с т о е в с к и й

Если Достоевский в каждом последующем романе показывает нам всё новых и новых духовно привлекательных героев, всё более приближающихся к образу “положительно прекрасного человека” — Соню, Мышкина, Алёшу, старца Зосиму, то у Твардовского в “Книге про бойца” образ героя из главы в главу становится всё глубже и масштабнее, авторские отступления — всё проникновеннее. В первой главе Тёркин — весёлый балагур, неунывающий вояка, любит поесть, покурить, поднять настроение у солдат.

*Балагуру смотрят в рот,
Слово ловят жадно.
Хорошо, когда кто врёт
Весело и складно.*

А вот каким мы видим Тёркина в одной из последних глав:

*— Стой, ребята, не годится,
Чтобы этак с посошком
Шла домой из-за границы
Мать солдатская пешком.
Нет, родная, по порядку*

*Дай нам делать, не мешай,
Перво-наперво лошадку
С полной сбруей получай.
Получай экипировку,
Ноги ковриком укрой.
А ещё тебе коровку
Вместе с приданной овцой.
В путь-дорогу чайник с кружкой
Да ведёрко про запас,
Да перинку, да подушку, —
Немцу в тягость, нам как раз...
Будем живы, в Заднепровье
Завернём на пироги.
— Дай Господь тебе здоровья
И от пули береги.*

Какая же великая русская душа перед нами раскрылась! А сердечное обращение к Богу с добрыми пожеланиями труженице-матери, одной из многих, которые

*И живут, и рук не сложат,
Не сомкнут своих очей,
Коль нужны ещё, быть может,
Внукам вместо сыновей.*

— трогает до глубины души.

В романе “Братья Карамазовы” появилась новая идея Достоевского — “Иночество в миру”. Алёша очень хочет остаться в монастыре, но старец Зосима благословляет Алёшу на подвиг “иночества в миру”, благословляет на женитьбу, на вхождение в мир для борьбы за преимущество духовного начала в мирской жизни. “Инок в миру” — переводчик духовного языка на язык душевный, миссионер не только словом, но и примером, поступками, всей своей жизнью — в миру. Вспомним, как над гробом старца Зосимы читал Евангелие отец Паисий, а рядом на коленях молился Алёша. Утомлённый, под мерное чтение отца Паисия, который читал в этот момент о Кане Галилейской, первом чуде Иисуса Христа, Алёша заснул. И привиделась ему во сне эта Кана Галилейская и среди гостей на пиру видит старца Зосиму: “Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке... И ты, тихий, и ты, кроткий мой мальчик, и ты сегодня луковку сумел подать алчущей. Начинай, милый, начинай, кроткий, дело своё...” Старец Зосима, лежащий рядом в гробу, во сне напомнил Алёше его миссию — идти в мир и делать всё для спасения людей. Как преподобный Серафим часто говаривал: “Спасайся сам и вокруг тебя спасутся многие”. Первым добрым делом в миру была Грушенька. На вопрос Ракитина, что ей такое сказал Алёша, Грушенька ответила: “Сердце он мне перевернул... Пожалел он меня первый, единственный, вот что!”

На всю жизнь запомнил Алёша те минуты. Когда он, проснувшись, вышел из кельи и, не вынеся в душе полноты восторга от божественной красоты звёздного неба, чудной ночи тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звёздною” — и неведомого откровения, озарившего его сердце, “как подкошенный, повергся на землю”. Он плакал, обнимал и целовал землю, а в душе звенели слова старца: “Облей землю слезами радости твоей и люби сии слёзы твои”. Простить хотелось ему всех и за всё и просить прощения.

“Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твёрдое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась и на веки веков”.

Пал Алёша на землю слабым юношей, а встал твёрдым на всю жизнь бойцом, готовым совершать в миру свой духовный подвиг, что согласовалось с напутствием покойного старца, повелевшего ему “пребывать в миру”. Как он исполнял своё предназначение в дальнейшей жизни, мы бы узнали из второго романа, где бы главным героем был Алёша, но Достоевский его написать не успел...

А написал этот роман своим жизненным и творческим подвигом Александр Твардовский. Да! Да! Господа недоброжелатели Православия, ненавидящие Достоевского, не желающие видеть православного Твардовского, а извлекающие из его имени учёные степени и материальные блага. “Инок в миру” – только бы так я назвала Александра Трифоновича Твардовского. Храмы разрушались, иконы сжигались, священники изгонялись и даже уничтожались, происходила страшная подмена ценностей, когда “разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца – пламенный мотор”. Твардовский же сохранил в себе глубокий инстинкт духовности, впитанный с молоком матери, с её колыбельными песнями, с её любовью. Душа его вбирала всё самое лучшее и от родителей, и от Некрасова: “привычку к труду благородную”, и от Пушкина: “береги честь смолоду”; тайны и чудеса природной жизни Соколова-Микитова, красоту поэтического слова Бунина, высокой оценкой которого его “Книги про бойца” он всю жизнь гордился. Можно сказать, что Бунин и сказал те золотые слова от имени всей русской литературы XIX века, в том числе и от Достоевского.

Оба писателя считали трагическим состояние человека, оторвавшегося от истины, а значит – от Бога. Так, например, большинство персонажей в романах, а в “Бесах” в особенности, не способны сделать решительный шаг в пользу Добра. Смещение духовного центра делает их “бессильными быть со Христом”. Однако православный философ Булгаков С. Н. не расценивал трагическое как безвыходное, ссылаясь на катарсис. По Аристотелю, катарсис – это высшая форма трагического, потрясающая читателя-зрителя и вызывающая у него нравственное очищение. Булгаков также трактует катарсис как нравственное очищение, но возможность его связывает с религиозным возвращением человека к Богу, с осознанием героями художественных произведений, а вслед за ними и читателями, что исцеление “многострадальной души” возможно только “у ног Иисусовых”. Но такого рода катарсис может быть вызван явлениями искусства, создатели которых обладают безошибочным религиозным чувством. К ним Булгаков безоговорочно относил Достоевского, ибо “для него есть только одна правда жизни, одна истина – Христос”, а потому и одна трагедия – не вообще религиозная, но именно христианская. К такой “святой истине и свету”, как пишет В. В. Ильин, стремился и Твардовский.

В середине 60-х годов А. Твардовский перечитывает Достоевского, в частности, роман “Братья Карамазовы”, в котором особенно привлекает его внимание “Легенда о Великом инквизиторе”, рассказанная Иваном Карамазовым Алёше. За основу легенды Достоевский взял сюжет из Евангелия об искушении Христа в пустыне сатаной. “Ты пришёл в мир, чтобы спасти человечество обетом свободы, а видишь ли сии камни в этой пустыне? Обрати их в хлебы, и за Тобой побежит человечество, как стадо. Но Ты отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя дух земли... Знаешь ли Ты, что придут века, и человечество провозгласит, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!” – вот что напишут на знамени... которым разрушится храм Твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание”.

Этот образ – “камни и хлебы”, по словам Юрия Селезнёва, Достоевский давно уже облюбовал как свидетельство извечной борьбы противоречий, составляющих основу трагедии исторического движения человечества. Христианство и социализм вышли из одного истока (не случайно же чуть не все социалисты, в том числе В. Белинский, так или иначе, даже и отрицая Православие, всё-таки соотносят свои теории с учением Христа), из страстной веры в возможность и необходимость гармонического человеческого общежития, устроеного на началах братского единения, “золотого века”, “рая” на земле.

Но Достоевский идёт ещё дальше: “...ибо тайна бытия человеческого не только в том, чтобы жить, а в том, для чего жить”. Но тёмные силы другого мнения: “...мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна! Мы давно уже не с Тобою, а с ним уже 8 веков. Отвергли Тебя и пошли за ним... Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их”. Такие откровения страшно было читать не только современникам Достоевского, но и нам, живущим в XXI веке, так как говорят они о многом... Христианство, как считал Достоевский, достигает братства через внутреннее духовное совершенствование каждого, вне зависимости от социально-исторических условий

жизни, без скидок на тяготы борьбы за существование, вопреки давлению окружающей среды. Противопоставить, отделить внутренне свой духовно-нравственный мир от внешнего, погрязшего в грехах и несправедности мира, — вот путь к перерождению мира: через его неприятие и отталкивание от него. Христианство стоит на духе, социализм — на разуме, но вот в разум-то, в чистый разум, отвергающий религиозные основы, Достоевский и не желал верить, поскольку, как писал он, религия есть форма совести, а разум без нравственной, освобождённой от контроля совести — ужас.

“Обратить камни в хлебы, — считал писатель, — и значит накормить голодных, но за счёт забвения духовных человеческих начал”. И далее Великий инквизитор сказал Христу: “Мы сохраним свою тайну: мы не с Тобой, а с ним, искушавшим Тебя в пустыне, вот наша тайна!”

А так как общество действительно меняется в сторону “хлебов”, то Твардовский обратил на это серьёзное внимание. Похоже, что первую стадию изменения общества по предсказанию Достоевского показал Твардовский в поэме “Тёркин на том свете”, а вторая стадия начинается на наших глазах, вопреки словам Христа: *“Не хлебом единым жив человек, а всяким словом Божиим”*. Миллионы людей ринулись на “хлебы”, предав забвению не только свою природную духовность, но и общечеловеческие ценности: долг, совесть, честь и достоинство. И даже интеллект.

* * *

Бывают странные сближенья...

А. П у ш к и н

“Бывают странные сближенья...” Под таким названием я нашла в интернете небольшую публикацию. Как же я ей обрадовалась! Ведь она оказалась единственной во всех средствах печати и в интернете, которая коснулась не только творческой, но духовной близости Твардовского с Достоевским. Мой уважаемый единомышленник, как же я Вам благодарна, что Вы заметили то же, что и я: чувство вины наших писателей за всё зло, творимое в мире, отметили их “венец пути”...

Подобные сближения по разным направлениям и признакам я и постаралась показать в своей работе, далеко не исчерпывающей моих мыслей и наблюдений: общее во взаимоотношениях с властью, во взглядах на Россию и Европу, в направлениях критической деятельности (в том числе ценнейших советах своим многочисленным корреспондентам), в изображении детей. Оно и понятно. Сам Достоевский в 7-8 лет знал всё то, что в это время было напечатано Пушкиным, в 10 лет прочитал Шиллера, в 12 — всего Вальтера Скотта. Не отставал от него и Твардовский, в круг чтения которого прибавились Некрасов, Толстой, Блок, Исаковский и многие другие писатели. Работая на даче, Александр Трифонович наставлял своего двухлетнего внука: *“Смотри и думай. Смотри и думай”*.

Достоевский не раз устами старца Зосимы напоминал о вине каждого человека за всё и за всех. То он непосредственно поучает Алёшу познать главное: что не кто-нибудь, но ты, лично ты, прежде всего, перед всеми людьми и за всех, и за всё виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, ибо все — как сообщающиеся сосуды, и потому чем чище твоя душа, тем более ты ощутишь свою вину за всё зло, творимое в мире. То старец вспоминает своего рано умершего брата, часто обращавшегося к матери: *“Да ещё скажу тебе, матушка, что всякий из нас перед всеми во всём виноват, а я более всех”*.

Незадолго до своей кончины поучал старец иноков: *“Ибо знаете, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей и за всякого человека на земле. Сие сознание есть венец пути иноческого, да и всякого на земле человека”*.

Подобный “венец пути”, подобную вину нёс в себе и Александр Трифонович Твардовский, выразивший своё состояние души в бессмертных строках:

*Я — знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —*

*Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том,
Но всё же,
Всё же,
Всё же...*

В этом трёхкратном повторении “всё же” — весь Твардовский со своей ранимостью, совестливостью и ответственностью за жизнь на Земле.

В критике отмечалось, что этот как бы “отрывок, вырванный из потока сознания, который предполагает протяжённость во времени и пространстве до и после того, что происходит в нём”.

“...аще пшеничное зерно, падше в землю, не умрёт, то останется одно; А если умрёт, то принесёт много плода” (Ин. 12, 24). Этот евангельский стих Достоевский взял эпиграфом к “Братьям Карамазовым”, и эти же слова высечены на памятнике Достоевскому над его могилой в Александро-Невской лавре.

И если внимательно вчитаться в потрясающее стихотворение Твардовского “Я убит подо Ржевом”, то можно усмотреть своеобразную переключку:

*Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме...*

Да, тысячи и миллионы воинов, убитых в Священной войне, стали тем “зерном”, по Евангелию, чтобы стать хлебом. И эти погибшие, как живые, живым завещают “родимой Отчизне служить”:

*И беречь её свято,
Братья, счастье своё
В память воина-брата,
Что погиб за неё.*

В этом стихотворении Твардовский воплотил евангельское: “Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих” (Ин, 15, 13).

Юрий Селезнёв оставил нам замечательное рассуждение: “Удивительно устроено русское сердце; столь велика в нём жажда встречи с родной душой, столь неистребима вера, что готова она распахнуться бескорыстно перед каждым, довериться любому, веруя свято, что каждый и всякий сам способен на столь же беззаветную открытость. Готовое вместить в себя все души мира, как родные, понять их, братски сострадать ближнему и дальнему — до всего-то ему есть дело, всему-то и каждому найдётся в нём место. И как бы ни велики или безбрежны казались обида его или оскорбление, всегда останется в нём место и для прощения, словно есть в нём такой тайный, не доступный никакому оскорблению уголок, и теплится в нём свет неугасимый”

Перечитывая Пушкинскую речь Достоевского, я обнаружила ещё одно ценное “сближение”: “Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, и узришь правду... Эта правда, прежде всего, в твоём собственном труде над собою”. Знакомые слова? Сколько глобальных потрясений, трагических событий произойдёт за 90 лет в истории нашего Отечества, прежде чем эта завещанная Достоевским “правда” — “найди себя в себе самом” — выльется в известную стихотворную заповедь Александра Твардовского “Не отступая — быть самим собой”, а ещё через сорок лет станет названием одного из сборников Твардовских чтений. Сборников-памятников великому советскому поэту, достойному продолжателю традиций Некрасова, Пушкина, Достоевского — Александру Трифоновичу Твардовскому.

“А памятники, — как говорил М. М. Пришвин, — ставятся не столько великому человеку, сколько для общества, как мера разлива души человеческой”. Так пусть эта мера становится всё глубже и шире по отношению к действительно великим гениям, как Пушкин, Достоевский, Твардовский.

И если кто-то усмотрит особое пристрастие в моих сравнениях-суждениях и к моим посвящениям, то я отвечу, что это не самый большой грех, что я вольна сказать своё читательское слово любви и признательности этим величайшим русским людям.